



Николай Мамин

Полевой цейс

Знамя девятого полка

Аллея

Николай Мамин
**Полевой цейс. Знамя
девятого полка**

Издательство "Руда"

1966, 1959

УДК 82.31
ББК 84(2Рос=Рус)6

Мамин Н. И.

Полевой цейс. Знамя девятого полка / Н. И. Мамин —
Издательство "Руда", 1966, 1959 — (Аллея)

ISBN 978-5-6042789-9-4

В сборнике представлены две военные повести. Первая переносит читателя в начало XX века. Закончена для России Первая мировая война. С фронта возвращается домой офицер-пулемётчик, уставший от сражений. Из трофеев привёз он только полевой бинокль Цейса. Но в родном городке снова меняется власть – туда входят белые, и дяде Косте снова предстоит воевать. Сможет ли он уцелеть в новой, гражданской, войне и уберечь свою семью? Вторая повесть о Второй мировой войне. Моряки не сдаются. В плену, в немецком концлагере они не слабеют духом. Ежедневно рискуя жизнью, несколько военнопленных готовят восстание. Ведь с ними сбережённое от врага знамя Девятого полка морской пехоты. И воинская часть жива, пока у неё есть знамя. Даже если придётся отдать за него жизнь. Для широкого круга читателей.

УДК 82.31
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-6042789-9-4

© Мамин Н. И., 1966, 1959
© Издательство "Руда", 1966, 1959

Содержание

Сибиряк не по своей воле	6
Полевой цейс	10
1	10
2	15
3	20
4	22
5	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Николай Иванович Мамин
Полевой цейс
Знамя девятого полка

© Издательство «Руда», 2019

© Н. И. Мамин, наследники, 2019

© С. А. Григорьев, иллюстрации, 2019

Сибиряк не по своей воле

В 60-х годах прошлого, двадцатого века, многие красноярцы могли видеть на улицах города странную фигуру: невысокий, сухонький пожилой человек с лицом, изборожденным морщинами, весь, с головы до пят, в коже: кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные штаны, сапоги; на руках – кожаные перчатки с крагами, на лице – защитные очки, придающие ему какой-то дьявольский вид, – на большой скорости проносится на ревущем не то как реактивный снаряд, не то как бешеный зверь трёхколёсном мотоцикле «Урал», пугая пешеходов, в те годы ещё не привыкших к большому уличному шуму и сумасшедшим скоростям (как потом оказалось, он очень любил свой мотоцикл и, ласково поглаживая, частенько называл его не без оттенка нежности: «мой мотозверь»). Во всяком случае, я, ещё не будучи с ним знаком, неоднократно обращал внимание на необычного мотоциклиста: в его облике было и нечто нетерпеливое, и демонстративное, и одновременно – чуть-чуть театральное. Это и был писатель Николай Иванович Мамин. Кстати, он любил повторять, словно поговорку, строку из стихов Андрея Вознесенского: «Мы родились не выживать, а спидометры выжимать».

Люди, едва слышавшие фамилию этого писателя, иногда спрашивают: не писатель ли это Мамин-Сибиряк? Отвечаем на это: нет! – и опишем здесь их отличия.

Красноярский писатель Николай Иванович Мамин (1906–1968) родился на Волге и всю свою взрослую жизнь прожил в советское время; однако судьба его вместила в себя столько драматических событий, сколько в истории русской литературы, пожалуй, ещё не выпадало на долю одного писателя, так что творческая судьба его не осуществилась в полной мере: так, издав первую книгу, сборник рассказов «Якобинцы», в 1933 г. в Ленинграде, вторую, повесть «Знамя девятого полка», он смог издать только 25 лет спустя, в 1958 г. (сначала в Красноярске, а затем, в 1961 г., в Москве). И хотя прожил он довольно долго для того сурового времени – 62 года, однако при жизни своей успел закончить и издать всего 6 книг прозы. И в Сибирь он, не сибиряк по рождению, попал отнюдь не по своей воле.

Известный же русский писатель второй половины XIX – начала XX веков, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) родился на Урале, большую часть жизни прожил в Петербурге и был успешным автором многих знаменитых в своё время романов об Урале и Сибири. Его собрания сочинений и отдельные романы издаются до сих пор, причём – большими тиражами.

Однако есть одна деталь, объединяющая этих писателей: настоящая фамилия Д.Н. Мамина-Сибиряка – Мамин. Случайно ли совпадение фамилий? Не есть ли в этом совпадении некая загадка для литературоведов, достойная исследования, в результате которого может вдруг оказаться, что эти писатели – дальние родственники? Тем более что родились они (по российским меркам) не столь уж далеко друг от друга: Н.И. Мамин – на Волге, Д.Н. Мамин-Сибиряк – на Урале.

Откуда же взялся в Красноярске Николай Иванович Мамин, родившийся на Волге, а первую книгу издавший в Ленинграде?

Родился он 24 октября 1906 г. в большом волжском селе Балакове. Ныне это крупный город с машино- и судостроительными заводами, начало которым было положено семьёй промышленников Маминых. Отец Николая, инженер Иван Васильевич Мамин (1876–1938) умер в заключении как «враг народа». Его имя было занесено затем в Большую Советскую Энциклопедию, сконструировал первый в России дизельный двигатель и основал вместе со своим братом Яковом Васильевичем Маминым завод «Русский дизель», который начал в 1913 г. выпускать первые русские трактора. Причём сын Ивана Васильевича Николай Мамин никогда не скрывал своего происхождения – скорее, наоборот, гордился им и писал о нём во всех анкетах,

когда подобная анкетная подробность была чревата последствиями: это было всё равно, что подписать самому себе судебный приговор...

Окончив, уже в советское время, среднюю школу, молодой Николай Мамин приезжает в Москву, начинает работать на предприятии, поступает в Московский университет. Затем 4 года служит в Кронштадте, в военном флоте. Всю жизнь потом он гордился тем, что был старшиной на знаменитом крейсере «Аврора» и ходил на нём вместе с командой в заграничные походы.

Одновременно со всем этим в начале 30-х годов он начинает литературную деятельность, занимается в Ленинградском литературном объединении Красной Армии и Флота (ЛЮКАФ) вместе с получившими потом широкую известность советскими поэтами и писателями Ольгой Берггольц, Леонидом Соболевым, Геннадием Фиш и др., а затем, после демобилизации из флота, становится профессиональным писателем, и писательская судьба его складывается блестяще: его проза, стихи, очерки печатаются в популярных литературных журналах «Знамя», «Звезда», «Молодая гвардия», «Смена»; в 1933 г. выходит его первая книга, сборник рассказов «Якобинцы», подготовлена вторая; он принят в Союз писателей и прочно входит в плеяду профессиональных советских писателей-маринистов...

Но в 1936 г. всё разом обрывается: арест. Повод – смехотворный: у него дома находят при обыске среди прочих книг книгу репрессированного автора. В результате забраны и уничтожены все рукописи, рассыпан набор новой книги, и – 8 лет лагерей. Я думаю, мотив всё-таки был другой: сталинскому режиму мешало непролетарское происхождение и интеллигентность молодого писателя; режим предпочитал выкашивать и истирать в лагерную пыль всё наиболее индивидуальное, яркое и талантливое.

Заключение он отбывал в «Ухталаге» (Коми АССР). Это был один из островов «Архипелага Гулаг», своего рода государство в государстве: территория «Ухталага» была растянута на тысячу с лишним километров, и работали там около ста тысяч заключённых: бурили землю на нефть, строили дороги, валили лес и возили его на строительство воркутинских шахт. В этом лагере он потихоньку делал «производственную карьеру»: начав лесорубом, работал потом шофёром, автомехаником. Заниматься писательской работой там, разумеется, не было никакой возможности, однако он умудрялся вести дневники, и эти дневники он сумел сохранить.

В 1944 г. Николай Иванович освобождается из заключения, однако ещё 2 года живёт и работает там, будучи в ссылке. В 1946 г. освобождается полностью, поселяется сначала в Подмосковье, затем уезжает в Литву (у него остается «поражение в правах»: ему отныне запрещено жить в столице и других больших городах) и тотчас окунается в литературную работу, пишет и подготавливает к изданию новую книгу. Но в 1949 г. – новый арест; опять – уничтожение всех рукописей (в том числе и рукописи новой книги, бесследно исчезнувшей) и 10-летняя ссылка, только теперь – в глушь Красноярского края, в село Мотыгино на Ангаре; повод – перекалфикация прошлой судимости: сталинской репрессивной машине, видите ли, не удалось за 10 лет истереть человека в пыль...

Живя на Ангаре, он сменил несколько рабочих профессий: лесоруба, рабочего геологической партии, моториста на катере, – и упорно продолжал при этом писать «в стол»... После смерти Сталина в 1953 г. надзор за ссылными ослабел, и Николай Иванович смог перейти работать в местной газете.

Только в 1958 г. ему выдают справку о полной реабилитации. Наконец-то свободен! Позади – 22 года репрессий, подорвавших его здоровье, 22 года потерянного для полноценного творчества времени. Однако выдержавший все испытания, но не сломленный, писатель тотчас же переезжает в село Лукино под Красноярском, восстанавливается в Союзе писателей, становится членом Красноярской писательской организации и начинает новый плодотворный период писательской деятельности. За следующие 10 лет он дописывает задуманные ранее произведения, пишет новые, подготавливает и издаёт в Красноярске и Москве одну за другой 5

книг: повести «Знамя девятого полка» (1958-й и 1961 гг.) и «Витязи студёного моря» (1966), сборники повестей «Валеркина любовь» (1959) и «Крохальский серпантин» (1966), роман «Законы совместного плавания» (1967).

Весной 1966 г., будучи молодым инженером-строителем, начавшим писать рассказы, я свёл с ним знакомство. Это был невысокий, сухонький пожилой человек с выцветшими голубыми глазами и ртом, полным стальных зубов (а ведь ему тогда ещё и шестидесяти не было – какая огромная разница с молодежью, упитанными лицами нынешних шестидесятилетних мужчин, которых и пожилыми-то назвать язык не повернётся – только цветущими!).

Однако через полчаса общения с ним ты совершенно забывал о том, что перед тобой пожилой человек с измождённым лицом – настолько он был живым, общительным, приветливым человеком с искрящимися от добросердечия глазами; он будто набрасывался на тебя с любопытством и в то же время – с весёлой лукавостью: а ну-ка посмотрим сейчас, что ты за человек! – так что разница в возрасте моментально таяла; с ним было необыкновенно легко и просто разговаривать – будто общаешься с душевно близким сверстником.

Со временем, получше узнав и самого Николая Ивановича, и его прошлое, я, кажется, стал понимать, откуда у него столько приветливости и добросердечия: в нём, видимо, осталась заложенная с младенчества старая русская культура, которую он сумел в себе чудом сохранить – культура не как вежливость и начитанность (хотя и это тоже неотъемлемые составляющие её), а культура в виде тех привитых человеку свойств, которые помогают ему оставаться душевно красивым и человечным всегда, в любых обстоятельствах...

С большим интересом слушал я также его рассказы о седых, легендарных, как мне тогда казалось, временах сорокалетней давности: о том, как он учился в конце 20-х – начале 30-х годов литературному мастерству в молодёжных студиях Москвы и Ленинграда вместе с будущими известными советскими писателями и поэтами, как увлекался футуризмом, слушал выступления В. Маяковского.

Необыкновенно живому характеру и неуёмной душе Николая Ивановича явно не хватало пережитого – он много ездил по краю. А в 1968 г. задумал плавание на Дальний Восток Северным морским путём с караваном судов. Путешествие закончилось трагически: в то лето в Северном Ледовитом океане была суровая ледовая обстановка, караван не успел пройти Северный морской путь в течение лета, в Беринговом море попал в сильный зимний шторм, его разбросало, и судно, на котором плыл Николай Иванович, выбросило на мель; высадка всей команды на берег, безуспешная попытка найти местную метеостанцию и – гибель Николая Ивановича 9 октября 1968 г. от переохлаждения и потери сил после перехода вброд речки в условиях начавшейся зимы. Похоронен он в далёком посёлке Беринговский на берегу Анадырского залива.

После его гибели, кроме изданных рассказов, повестей и романа, в архивах его осталось много черновиков, незаконченных и недоработанных произведений, требующих литературоведческого изучения, доработки и возможного издания. Так, имеется черновик толстого, многостраничного романа «Тракт, на котором буксуют», сохранились лагерные дневники, имеющие определённую историческую ценность, как документ эпохи, которые требуют расшифровки и литературной обработки, имеются черновики неизданных рассказов и повестей.

Предлагаемые читателю повести, собранные в настоящей книге, казалось бы, просты: сюжеты их содержат реальные, подсмотренные в современной писателю жизни бытовые коллизии; герои их взяты из повседневности и узнаваемы; легко узнаваема и география повествований: это те самые места, где приходилось жить самому автору; угадываются названия городов, сёл, рек и речек, слегка изменённые автором. И при этом повести эти, с их бытовым реализмом, словно неким светом, пронизаны лёгкими, едва различимыми слухом романтическими нотами, опоэтизированы, открывая в простом и привычном мире какие-то новые грани и новые смыслы.

Главный герой повести «Полевой цейс» – школьник-подросток, живущий в условиях необыкновенно сложного для России времени, в 1916–1918 годах, когда одновременно шла Первая мировая война, случилась Февральская революция, а затем – следующая за ней Октябрьская революция и Гражданская война; подростку трудно разобраться в ситуации, многое непонятно: что за этими событиями кроется? почему так по-разному ведут себя окружающие? – и тонкие, точные наблюдения за всем происходящим постепенно делают героя взрослее.

Вторая повесть – «Знамя девятого полка» – о войне и о стойкости русских солдат и моряков, оказавшихся во время Великой Отечественной войны в фашистском плену.

Повести эти не издавались более сорока лет; хочется надеяться, что они заинтересуют и сегодняшнего читателя, в первую очередь – юного: ведь темы мужества, товарищества, любви, душевной щедрости, уважения и доверия к человеку являются нестареющими, вечными в литературе, сохраняют и умножают неумирающую красоту мира и особенно ценны и дефицитны, когда общество начинает забывать о них.

*Александр Астраханцев,
член Союза российских писателей*

Полевой цейс



1

Дядя Костя привёз его с Юго-Западного фронта, восьмикратный, призматический, с белым клеймом фирмы Карла Цейса из Иены. Бинобль этот подарил ему в апреле семнадцатого года сдавшийся в плен австрийский обер-лейтенант, худенький человек в очках, виолончелист по мирной профессии.

Причём подарил он его со странными и многозначительными словами, напоминающими торжественное напутствие.

– Мир дал великую трещину, и теперь в России творится такое, что и вам, герр лейтенант, весьма полезно иметь зоркие глаза.

Не совсем обычного обера вскоре отправили в тыл, и дядя Костя не успел поговорить с ним поподробнее.

Мне шёл четырнадцатый год, и этот дорогой офицерский бинокль сразу заслонил всё в моей выгоревшей под степным солнцем голове.

В свои призмы бинокль запросто показывал чудеса: и казавшийся издали синим и плоским лесок за Сазанлеем приобретал глубину и становился виден отдельно каждым дубком, а ястреб высоко в небе придвигался к самым глазам, и подкрылки у него оказались мелкопушистые и нежные.

– Да возьми ради бога. Только не разбирай, – безразлично сказал дядя Костя на мою умильную просьбу отдать «цейс» мне и прикрыл глаза синеватыми веками смертельно усталого человека.

Подпоручик пехотного полка, дядя был отравлен газами под Ней-Шидловицем в апреле пятнадцатого года и дважды ранен, по счастью, сравнительно легко. Он напоминал человека, кроме газов отравившегося ещё чем-то очень горячим и острым, и теперь лишь постепенно отходил.

Жене Ксане, моей старшей тётке, преподавательнице зоологии, он всё-таки по вечерам рассказывал что-то фронтовое, и ещё наутро тётка ходила с одичалыми страдающими глазами. Дело происходило на даче, под степным тихим городком, и никто из нас, кроме, конечно, дяди Кости, ещё не знал, чем пахнет человеческая кровь и дым разорвавшейся гранаты. Однажды вечером я подслушал его рассказ о том, как пулемётчики, заранее пристреляв рубеж, зимней ночью насыпали вдоль него пустых консервных банок шагах в ста от переднего окопа. На следующую ночь могла быть атака.

– Когда банки забренчали под ногами немцев, расчёты шести станковых машин открыли огонь и били до тех пор, пока не стали светиться надульники и не закипела вода в кожухах... – как всегда негромко и устало повествовал дядя Костя. – Ветер бил со стороны немцев и припахивал – знаешь чем? – свежей убоиной и спиртом: немцы шли пьяные, в рост, и наутро вся низинка перед окопами стала зеленовато-серой.

Он молчал так долго, что тётя Ксана неуверенно спросила:

– Почему серой? Ведь зима же, снег.

– Какой снег!.. Одни трупы в шинелях. Как трава за лобогрейкой, – хмуро ответил дядя Костя и опять замолчал надолго.

А через день я, так же сквозь неплотно прикрытую дверь, услышал ещё одну фронтовую быль из этого же смертного цикла.

– Шли мы в маскировочных балахонах, «максим» был поставлен на лыжи, чтобы не скрипели колёса, – так же обстоятельно и честно рассказывал Константин Михайлович жене. – Мороз был градусов пятнадцать. Но ты же знаешь, руки у меня не боятся мороза, и для верности я сам лёг за пулемёт. Они подошли вплотную, в ротной колонне, и нас не видели. И пулемёт, как покойник, накрыт белым. Я нажал на затыльники, когда до колонны осталось не больше полсотни шагов. Боже ты мой лютый, что было...

Дядя опять долго молчал, а потом сказал:

– Омерзительно! Мясничья работа!.. Смотрю на свои руки – и начинаю понимать, как палачи сходят с ума. Да, вот эти самые руки... И ногти подстрижены...

Тётка вздохнула и, верно, тихонько поцеловала дядину руку. Она любила целовать его тонкие, необычно красивые запястья.

– Нет, Котенька, палачи с ума не сходят, – всё-таки убеждённо возразила тётка. – Сходят хорошие, чистые люди... когда им так приходится. Но ведь ты же не из... чего-нибудь...

Дядя горько засмеялся.

– Вот именно. Не из садизма и жестокости. Это моё мясничество нужно России. Мы так считали. Тогда.

Он тоже глубоко вздохнул, и они переменили разговор. А я, притаившись за дверью, без особого сожаления представил этих серо-зеленоватых немцев, наваленных рядами, как дрова на лесосеке, и с гордостью увидел не боящиеся ни мороза, ни огня дядины руки, намертво сжавшие рукоятки пулемётного затыльника.

Слово «Россия» тогда и для меня, тринадцатилетнего гимназиста, оправдывало многое.

Однажды дядя проговорился, что больше всего ему хочется поехать в Петроград и заново держать экзамены в политехнический институт имени Петра Великого. С первого курса этого института его в начале войны взяли в школу прапорщиков. И хотя Петроград уже устойчиво голодал и немецкие войска занимали Украину, даже дядя Костя ещё не догадывался, что та полоса войн, в которой всем нам суждено если и не погибнуть, то повзрослеть и состариться, только началась.

Мы жили тогда на даче купца Вилошниковова, за двадцать рублей керенками в месяц сданной тётке догадливым хозяином, чтобы помещение не забрали под детдомовскую здравницу. Дача – трёхкомнатный флигелёк со скворечней-мезонинчиком на крыше – стояла в старом, но хорошо ухоженном фруктовом саду на берегу степной речки Сазанлей, впадающей в речку Линёвку, а оттуда в Волгу.

Сазанлей, широко разливавшийся в половодье и мелевший к июлю, тёк по самой границе голой степи и приволжской поймы, поросшей курчавым дубняком и талами.

Степь была в многоточиях кротовых кучек, с зыбкими миражами в жаркие дни, с коротким и яростным цветением тюльпанов по вёснам. Мне степь казалась морем, которое я до этого видел только на картинах. Лет десять спустя я открыл, что в этом детском предвидении была доля правды. Во всяком случае, горизонт равнины был вполне морским.

По утрам дядя Костя любил выходить босиком на росную траву под яблонями, и мы со второй, младшей, тёткой Серафимой, прозванной Сорокой и бывшей на пять лет старше меня, понимали без слов, что его сведённые окопным ревматизмом ступни просили ласки неостывающего и за ночь чернозёма.

Всё вокруг было на редкость штатским, абсолютно таким же, как и до войны, и лунными вечерами мы засиживались на маленькой скрипучей веранде, и тётя Ксана, не зажигая лампы, играла на гитаре и низким голосом пела про чёрные очи:

Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать, увидел вас я не в недобрый час...

Глаза же у дяди Кости были светло-карие, и, по-моему, он ревновал жену к песне, но только не показывал вида. А уже созревала морель, первая садовая ягода в наших местах, и завязь анисовых яблок покрывалась фиолетовой пылью.

Константин Михайлович, окрепший и загорелый за каких-нибудь две-три недели, словно за целое крымское лето, уже поговаривал о временной работе в чертёжной механического завода братьев Грачиковых, но старшая тётка сразу расстраивалась и приносила ему зеркало, чтобы дядя убедился, что он совсем ещё не в форме. Вот тут-то в нашу, так до дива мирную дачную жизнь, как первое дуновение предгрозя, вошла фамилия уездного военкома Захаркина.

Пётр Филиппович Захаркин, так же как и дядя Костя, всего два неполных года назад был лишь прапорщиком военного времени и, по слухам, теперь тоже ходил в зелёном френче со споротыми погонами. Но с фронтом он рассчитался раньше дяди и осенью прошлого года уже успел подраться в Саратове с юнкерами, засевшими в городской управе, завалив улицы перед ней брёвнами, бочками и даже ящиками с айвой.

Злые и, вероятно, пристрастные языки у нас в городке говорили, что две снарядные пробоины в стене церкви Михаила Архангела возле управы – дело рук Захаркина, так как его бата-

рея, восставшая против Временного правительства, стояла у колокольного завода под Соколовой горой. О том, что на Михайло-Архангельской церкви юнкерами был установлен пулемёт, эти пристрастные свидетели обычно забывали сказать.

Повестку из военкомата принесли утром, и, прочитав её, дядя Костя сказал, разглядывая подпись:

– Он самый. – И, повертев лиловый бланк в руках, усмехнулся. – Как же, однополчанин. Значит, определился в бурном море...

Встревоженная тётя Ксана тут же отобрала у него бумажку и вслух прочла:

– «С получением сего вам надлежит явиться к 10-ти утра 2-го июня сего года в Балашинский уездный военный комиссариат для прохождения регистрации как бывшему офицеру. Увоенком города и уезда П. Захаркин». Опять? – с драматическим ударением на слове спросила тётка и выгнула полукружьями свои чёрные, очень точного рисунка брови.

– Спасибо, не в чека к Бычкову... – меланхолически успокоил её дядя.

Бывалый фронтовик, получивший подпоручика накануне февральского переворота, отдохнув на жениных дачных хлебах, он, кажется, опять ничего не боялся.

Вернулся дядя Костя из городка после обеда, ведя за руль тёткин велосипед со спустившей задней шиной, но победно улыбаясь.

– Удивительно, что не посадили, – только и сказала переволновавшаяся Ксения Петровна. – Неужели твой однополчанин и на самом деле оказался...

Дядя Костя был невозмутим.

– При чём однополчанин? Как-никак, бумага-то от врачебной комиссии фронта, – сказал он строго. – Службе до первого восьмого не подлежу. Ну, а о добровольчестве разговор был особый, большой, и даже сказать, интересный, но... Словом, мне велено подумать. А я и так второй месяц прикидываю, что с собой бедному прапору делать? Резиновый клей есть?

Пообедав, мы занялись заклежкой камеры, и мирное дачное житьё наше продолжалось ещё полных двое суток.

А четвёртого июня в Балашине началось кулацкое восстание против Советской власти, поднятое по сигналу мятежного чехословацкого корпуса военнопленных и недели на три охватившее весь уезд.

Но для меня в те дни и революция, и контрреволюция в наших краях имели лишь строго конкретный образ, и за словами «чехословак», «золотопогонник», «красногвардеец» (чаще просто «красный») стояли определённые, жившие или действовавшие неподалёку от нас люди.

Стрельба в городке началась перед рассветом, и до нашего сада докатилась уменьшено и совсем не страшно, словно кто-то, нервно постукивал пальцем в полу стенок.

По неотложной нужде выскочив на крыльцо, я всё-таки догадался, что в городе стреляют. А тут ещё чётко застучала какая-то диковинная швейная машинка короткими перемежающимися паузой очередями, – как потом оказалось, это огрызался единственным пулемётом тот самый уездный военком П. Захаркин, с полусотней красногвардейцев отходя к затону, чтобы погрузиться на буксирный пароход и отплыть в Саратов. Восстание уже целую неделю висело в воздухе, и даже на улицах о нём, готовящемся в окрестных сёлах, говорили открыто.

Когда швейная машинка застучала ещё раз, я побежал будить Константина Михайловича. В саду всё так же мирно шелестела листва яблонь, и отблеск поблёкшей к рассвету луны матово лежал на побелённых стволах деревьев.

– Дядя Костя, палят! – сказал я громким шёпотом, очень довольный, что проснулся первым. И как раз в эту минуту на окраине городка вспыхнул протяжный многоликий крик «ра-а-а», щелчки посыпались гуще, и тут же их перекрыла методичная железная стёжка пулемёта.

Скрипнули пружины матраца – дядя Костя сел на постели и деловитым тоном, словно и не спал за минуту до этого, согласился:

– Ага. «Максим» старается. Иди спать. Тёток разбудишь. К нам не придут. Мы в стороне. Иди. – И опять зазвенели пружины: мой обстрелянный дядька укладывался на своё согретое место рядом с тётёй Ксаной.

И так великолепно спокоен и трезв был его голос, что я вдруг устыдился своего мальчишеского беспокойства и на цыпочках ушёл по скрипучей лестнице в мезонин.

А в городе продолжали стрелять, и хриплые голоса людей, издали казавшиеся не громче комариного зума, звучали ещё долго.

2

Восстание пришло к нам на другой день в образе солнечно-рыжего дорожного техника Паисия Сергеевича, тоже младшего офицера, когда-то и дружка дяди Кости ещё по Саратовской первой гимназии.

Рыжий Паисий прискакал к нам на дачу на игреневом жеребчике из конюшни дорожной дистанции.

– Поздравляю, коллеги! – сказал он торжественно, только спрыгнув с седла. Бархатный околыш его «технической» фуражки был потёрт, медные молоточки на ней потускнели, но на рукаве поношенной тужурки топорщилась широкая белая лента, и весь он светился молодой и жестокой радостью щенка, с которого только что сняли тяжёлый ошейник.

– С чем? – хмуро спросил дядя Костя, приоткрыв лишь один глаз. Босой и в расстёгнутой гимнастёрке, он, как бы демонстрируя нейтральность, покачивался в гамаке на веранде с раскрытым томиком ахматовской «Белой стаи» на животе.

Тётя Ксана в полосатом дачном капотике, сидя на скамеечке, выбирала шпилькой косточки из алых картечин только что сорванной морели.

Всё на этой веранде с парусиновыми шторками и лёгоньким поскрипыванием гамака было действительно так несозвучно всему накалу городской «заварухи», что рыжий Паисий опешил.

– Невероятно, но факт. Проспали, – сказал он огорчённо. – С восстановлением справедливого порядка, господа! Волга поднимается. Только что получена телеграмма: Волинск восстал.

– Тебе что?.. Стохода мало? Не навоевался? – вдруг пренебрежительно справился Константин Михайлович и полностью открыл прищуренный левый глаз. Меня тогда поразила насмешка, блеснувшая в его взгляде. Какие могут быть разговоры и смешки, раз Волга поднимается, и даже обычно тихий Паисий Сергеевич нацепил белую ленту?

Но напоминание о запруженной трупами австрийцев и русских далёкой реке, по-видимому, чуть-чуть охладило рыжего, и он лишь сказал с оттенком лёгкой горечи:

– Вот так оно у нас всегда: ораторствуем, спорим до хрипоты, а как до дела коснулось... – Он махнул рукой и взял из ведёрка, предупредительно подвинутого к нему Ксенией Петровной, пригоршню морелек.

Дядя Костя смотрел на белую ленту над локтем Паисия иронически улыбаясь.

– Говорят, у китайцев цвет траура белый, – наконец сказал он, и Паисия взорвало:

– Стыдись, Кир! – бросил он страдальчески, но ещё называя Константина Михайловича его гимназической кличкой. – Они насильники и узурпаторы! Ни свободы слова, ни свободы убеждений. А ты русский офицер...

– Бывший, – невозмутимо вставил дядя.

– И мыслящий человек... в гамаке качаешься...

– А ты хочешь, чтобы я на дереве качался? Кто это, они? – будто не поняв всей очевидности заключения Паисия, так же пренебрежительно справился дядя.

– Он не знает, кто? Ленины-Свердловы.

– Ах, Ленины-Свердловы! Кстати, я слышал, что Ленин – культурный человек. Экономист, философ. И знаешь, мечтать о крестовом походе на его сторонников мне что-то лень. За что нам-то опять под пули лезть? – уже совсем другим тоном, миролюбивым и усталым, заворчал дядя. Всё-таки они с этим закусывающим удила Паисием – Рыжее Солнышко до сегодняшнего дня дружили лет восемь-десять, не меньше. Но тут, как батарея, спрятанная на фланге, сверкнула серыми глазищами со своей скамеечки Ксения Петровна.

– Нет, это вы, Липнягов, стыдитесь! Называли себя сторонником эволюции, а призываете к поножовщине. Тоже мне, Пугачёв!..

Рыжий Паисий, четвёртый сын станционного телеграфиста и существо по природе настолько мирное, что никаких политических свобод ему и на дух не требовалось, рассердился вторично и далеко за перилы веранды плюнул розовой косточкой. Он явно был в завихрении чьих-то злых и горячих слов.

– А вот это, извините, милая барынька, логика чистейше дамская, – сказал он холодно. – Мы же восстали за поправленные демократические свободы, то есть именно за эволюционный путь развития страны, и нас же – в Пугачёвы! Спасибо.

Паисий долго молчал, мрачно поплевал в кулак косточки морели, а потом спросил подавленно:

– Значит, Кир, не пойдёшь записываться?

Дядя опять закрыл глаза, но уголок его рта дёрнулся. Он не любил болванов, как звал всех без исключения людей, не способных сразу понять ход его мыслей. Что ни говори, а характер моего дяди был нелёгкий.

– Куда записываться?

– В кассу взаимопомощи, – жёлчно бросил Паисий и поправил белую ленту на рукаве.

– Нет, ты хоть объясни толком, как оно теперь у вас зовётся, это самое христоролюбивое воинство.

– Народная армия комитета Учредительного собрания России оно зовётся, – обиженно буркнул Паисий и вдруг сказал деловито и без тени обиды: – Ну и чёрт с тобой! Нам таких дервишей и не надо. Качайся дальше. Только вот что... погоны у тебя целы? Мои Клаша куда-то забросила.

Все они тогда ещё считали, что старая дружба и так называемые идейные расхождения в некоторых случаях могут и сосуществовать. Правда, уже полгода спустя многие из них поняли, что всё это не так легко.

– А это пожалуйста, – просто сказал дядя и вдруг чётким движением вынес из гамака ноги и сразу попал ступнями в домашние туфли. Он принёс из комнаты зелёный вещевой мешок и начал выгружать из него на стол всякую памятную мелочь. Красный анненский темляк от пашки лёг на связку писем, а пригоршня нагановских патронов застучала по немецкой губной гармонике. Помятые погоны с двумя звёздочками были завернуты в плотную бумагу. Мне показалось, что дядя Костя отдал их Паисию даже с каким-то весёлым облегчением. Словно тяжёлый и бесполезный пост сдал.

– На, подпоручик, носи на здоровье, – сказал он уже без тени насмешки и лишь на секунду запнулся: – Только... не спеши ты со своим вторичным ускоренным выпуском. Что, большевики именье у тебя конфисковали? Думать тоже иной раз полезно...

– А! За нас генерал-лейтенант Будберг подумает. Как начальник штаба армии, – беспечно отмахнулся Паисий, уже примеряя один погон к своему широкому плечу.

Погон светился остуженно и тускло, как чешуя уже мёртвого дракона, и Паисий сказал вдруг растроганно:

– Подумать только, что год назад за эти... наплечники запросто прощались с жизнью! Послушай, а фронтовых зелёных у тебя, Кир, не осталось?

– Фронтовых не отдам. Бери, что дают, – твёрдо сказал Константин Михайлович и, не любивший толстокожих людей, замкнулся опять, а Паисий Сергеевич, спрятав свёрток с погонами в карман, стал прощаться. Но было похоже, что какие-то дядины слова как бы вынули из него, такого жизнерадостного и румяного, некий сразу остывший стержень. И в седло он садился понуро. И долго скакал на одной ноге обок коня, а сытый жеребчик всё норовил куснуть его за коленку, и Паисий бормотал, уже не стесняясь присутствия дамы.

– Балуй, балуй, чёртов скот!

Когда Паисий уехал, дядя Костя ещё долго стоял у перил веранды и прислушивался к топоту его коня, словно по нему стараясь что-то определить, а потом сказал задумчиво и чуточку недоумённо прижавшейся к его плечу тётке Ксане:

– Ведь был человек как человек. И где только он таких репёв набрался? Эх, ускоренный выпуск, помесь кого с кем – уж и не знаю!..

– Это Меньков всё, – убеждённо и печально сказала тётка. – Страшная фигура. Вот кому палачом-то быть. Этот с ума не сойдёт... А они все вместе ходили.

А я, так и не поняв толком, о чём говорят взрослые, бегом поднялся в свою скворечню под нестерпимо накалившейся крышей и, сняв со стены над кроватью дядин «цейс», уже наполовину ставший моим, ещё долго смотрел в спину скачущему Паисию Липнягову.

Знающий сапёр, в седле он сидел неумело, и локти у него взлетали совсем не по-офицерски. Но гнал он тем самым аллюром, который на пакетах со срочным донесением помечается тремя крестами.

Мы, мальчишки Первой мировой войны, уже знали о таких головоломных крестах.

Паисий, всё выше прыгая в седле и на глазах уменьшаясь, продолжал лупить своего конька гибким ивовым прутом. Офицеры ускоренного выпуска в эти летние дни второго года революции, они уже не могли не спешить. Когда Паисия заволокло такой же рыжей, как и он сам, пылью, я заскучал и сбежал вниз.

Тётя с дядей всё ещё стояли на краю веранды, так и не расцепляя ладоней, и Константин Михайлович свободной рукой, как маленькую, гладил жену по тёмным волосам, а Ксения Петровна закрыла глаза и жалобно улыбалась, верно, уже предчувствуя близкую разлуку. За их спинами продолжала чистить морель молчаливая Серафима, и её толстая коса от резких движений ходила между худенькими лопатками как пушистое живое и сердитое существо. Младшая тётка зашипела на меня, словно клушка, раскинув крыльями обе руки над наполовину опустошённым эмалированным ведёрком. Но я, обманув её защитные манёвры, зацепил горсть уже обработанных шпилькой ягод из второго ведёрка и сразу вклинился между дядей и старшей тёткой.

Ах, как я любил тогда этих милых молодожёнов, повенчанных летом шестнадцатого года, в одну из последних побывок дяди между фронтом и госпиталем, и только сейчас начинающих жить вместе. Молодые и добрые, они вполне заменяли мне и оставшихся в Саратове родителей, и всех товарищей по играм и учёню. Даже переэкзаменовка по арифметике, перенесённая на осень, возле них совсем не казалась страшной, потому что дядя Костя, ещё на первом курсе съевший зубы на домашнем репетировании, за один вечер мог втолковать о дробях больше, чем наш математик за всю неделю.

Было в этой милой и влюблённой паре нечто такое, что в те суровые и тревожные дни неудержимо, как птицу в лесную тень, влекло к ним мальчишеское сердце. Может быть, и то, что по молодости оба они были совершенно прозрачны и так откровенно счастливы тем, что наконец всё время вместе.

– Помолчи, – шепнула старшая тётка, пустив меня в тёплый промежуток между собой и мужем.

Константин Михайлович, не прерывая рассказа, только провёл большим пальцем по моей стриженной голове.

– Ну, проволока в четыре ряда, а внизу волчьи ямы с кольями на дне, и колья торчат из воды. Река-то вот, ста шагов не будет. Ну, ряд за рядом окопы полного профиля и блиндажи в три наката, а между ними вёрсты ходов сообщения. Словом, глубоко эшелонированный узел обороны. Без полусуточной артподготовки не суйся. А через реку – австрийцы. И всё так же – ямы, проволока, блиндажи. Тупик. Кризис позиционной войны. Армии зарылись в землю. И вокруг на сотни вёрст в длину всё загажено, и нутро воротит от трупной вони. И вовсе не река между нами течёт, а какая-то ржавая сукровица. Трупы плывут. Дышать нечем. Значит,

на правом фланге, вверх по реке, бой. По трупам видно, кто кому ломает оборону. И хлеб, и руки, и шинель – всё пропахло тленом, кладбищем. Вот так и гнили мы заживо в могилах под тремя накатами дубовых брёвен. А я закрою глаза – и вот его вижу, – дядя ласково усмехнулся и кивнул в сторону сверкающего за деревьями Сазанлея, который ещё не успел по-летнему обмелеть. – Кузнечиков слышу, шершней, степь! Или Линёвку, а над ней талы шумят. Вот с Волгой ничего не получалось. Не мог её представить. Простору, что ли, перед глазами мало было. А может, смрад мешал. И вот они рядом: Сазанлей, Линёвка, сама матушка – синяя, в белых барашках. А фронт опять рядом. Завтра на Сазанлее окопы рыть будут, прямо тут, под яблонями, передний край пройдёт.

Дядя замолчал, машинально глядя тёткину голову. Дула низовка, от самого Каспия шёл горячий ветер. В степи за речкой на пыльной дороге вставали закручивающиеся воронки смерчей, из тех, в которые если бросить нож, то он упадёт на землю в крови. Есть такое старушечье поверье. Но, странное дело, я видел окрест над Сазанлеем глазами дяди Кости: колючая проволока в четыре ряда, горбатые прищурившиеся блиндажи, братские могилы траншей. Всё как в натуре, на учебном полигоне под Волынском. Ох, как цепка детская память!

Почему-то было не по себе. Вероятно, оттого, что фронт, проклятый, отравный, в трупном смраде и ржавчине политой кровью земли, всё-таки настиг дядю Костю и в наших самарских степях, так и не дав ему до конца долечить и ноги, и душу росной травой под яблонями.

Я жался к бёдрам тётки и дяди и был готов зареветь от жалости и любви к ним, самым дорогим и близким мне людям на свете. И что только всем от них надо?

Вон, то Захаркин повестки шлёт, то заполошный Паисий в белые сманивает. Как же жить дальше?

И, главное, хорошего леса вблизи нет, чтобы уйти в дезертиры. Вырыл бы землянку и жил, как сурок, пока отвоюют. А я бы таскал ему раз в неделю янтарём просвечивающую на солнце воблу, свежую картошку, пшено и зелёный лук. А то зайчишку застрелить можно. Положим, зайцев летом стрелять нельзя. Даже дезертирам.

– Стой! А если к киргизам уйти кочевать? – от чистого сердца ищу я выход, и дядя, поняв всё, смеётся и треплет меня по стриженной голове. Потом говорит сурово и печально, как равному:

– От таких дел, Димка, не уходят. Ещё дороги не придуманы.

– Нет, всё-таки рассказчик ты лучше, чем педагог. Ну, что ты ему говоришь? – умеренно возмущается моя педагогичка-тётка и просительно гладит дядину руку. Я знаю, ей очень хочется слушать о том, как он жил без неё на оплетённой колючей проволокой и протухшей от трупов западной речке, знать решительно всё, изо дня в день. Негромкий и даже сейчас чуть-чуть иронический дядин голос опять потёк в мирном шелесте яблонь.

– Ну, какой я рассказчик! Вот ты бы капитана Басыгина послушала... Так о чём, бишь, мы? Значит, какие песни пели? Да никакие. Когда уж всё осточертеет, заведёт под вечер иной раз какой-нибудь бородач из ополченцев «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». А каждому ясно, никакая это не Трансвааль стучит в душу, а самая что ни на есть Тамбовщина, Курщина, Рязань да Самара, тоже вот-вот готовые вспыхнуть своим огнём. Почему-то революцию мы там ещё за год, как ревматики непогоду, предчувствовали. Вероятно, от нелепости положения на фронте. Да и как цензура ни марала, а письма шли. Ну и... – дядя вдруг оборвал себя и сказал уже сдержанно и зло, словно мостик перекинул из нашего сегодня в тот дымный и пахнувший кладбищем край, где вились его мысли: – Ха, справедливый порядок. А что мы о нём толком знаем? Был царизм – то есть дворцовый кабак с Распутиными, с Вырубовыми... потом кабак всероссийский присяжного поверенного этого, как его...

– Керенского, Котя, – укоризненно подсказала тётка, которая, конечно, знала, что фамилию своего знаменитого волжского земляка дядя всерьёз забыть не мог. Он просто не любил болванов и крикунов.

– Чёрт с ним! Речь о нас. Вчерашних прапорах. Мы ротой командовать научились, ну, пусть по нужде, батальоном. Мы – автоматическое оружие, пока ещё смазанное и готовое к бою.

Дядя так глубоко вздохнул, что мне стало тесно между ним и тёткой. Потом сказал сердито:

– Но в чьих руках мы будем, нам тоже не безразлично, и своё новое начальство нам знать надо назубок, а не так, тят-ляп – записывайся, пусть барон Будберг за всех думает.

– А знаешь, Котенька, – так же неожиданно отозвалась тётка, как видно, прекрасно разбирающаяся во всех лабиринтах смятенных мыслей мужа. – И я ведь никогда не думала, что Захаркин может оказаться таким гуманистом.

У дяди Кости только чуть покривило щёку тиком давней контузии.

– Захаркин?! Тот не с кондачка свой путь выбрал. Но его попёрли. Только, я помню, у него в батарее порядок был. И солдат на бруствер не ставили. А так, то... тоже вчерашний прапор. Курица – не птица, как все мы, ускоренного выпуска. А тут надо «чистое дело, марш», как капитан Басыгин говорил.

– Как, как?

– Ну, такое чистое, что за него на смерть идти стоит. Вот была Россия, мы шли... Эх, Трансвааль, Трансвааль, страна моя... Задумаешься: кровь-то ведь русская льётся. Не венгерских гусар. А где оно записано, такое право, – русским лить русскую кровь?

Они говорили ещё долго, и не совсем всё было для меня понятно, а я стоял между ними, обняв их обоих за бёдра, и слушал и тёрся головой то о тёткин, то о дядин локоть.

Наше дружное трио порушила Серафима, дёрнув меня за начинающую отрастать косичку в ложбинке на худенькой шее и насмешливо сказав:

– Давайте, господа лекторы, обедать, а то от вашей философии под ложечкой сосать начинает. А потом я в город на велосипеде съезжу. Как ты, Ксана, думаешь, можно?

Старшая тётка сказала возмущённо:

– С ума сошла! Слышишь, Котя, она в город съездит?!

Я тут же прихлопнул лёгкую Серафимину руку у себя на шее, и горьковатое очарование беседы взрослых сразу растаяло. На веранде стало по-обычному ералашно и шумно.

3

Купец Вилошников пожаловал к нам под вечер второго дня восстания. Он приехал в плетёном тарантасе на кованом железном ходу, и прежде чем войти в дом, долго привязывал коня к штaketнику, а поднявшись на веранду, так же долго искал глазами по всем её углам хоть маленькую иконку, но так и не найдя, неодобрительно прикашлянул и мелко перекрестился на восток.

– Лик Христов или его святой матери, а на худой конец – хотя бы кого-либо из чудотворцев и божьих угодников в доме надобно держать. Желаю здравствовать, господа, – сказал он докторально-постным тоном и перешёл к цели визита: – А прибыл я к вам вот по какому делу: договор нам надо перетаксировать.

Тут он подошёл к перилам веранды и так же неодобрительно и значимо поковырял худым пальцем вырезанный мною перочинным ножом на перилах вензель.

Дядя Костя, буркнув что-то вроде: «А, это вы...», молча смотрел на владельца дачи из гамака.

Старшая тётка покраснела и сказала умоляюще:

– Котенька, это хозяин дачи.

– Вижу, – невозмутимо отсёк всякие контакты с купчиной Константин Михайлович и только тогда поднялся со своего висячего ложа. – Так чем обязаны?

Купец был невысок ростом, почти плюгав, и дядя смотрел на него сверху вниз.

– А вот тем и обязаны, что живёте вы на моей даче-с, господин Трубников, – сказал он внушительно и как бы вскользь чиркнул взглядом по ляточкам от снятых погон на дядиных плечах. – А плата мне от вас идёт только новой формы ради.

– Но вы же сами... – укоризненно сказала тётка, и купец успокоительно поднял руку.

– Сам, сам, милая барынька. Но формочку-то люди добрые опять старую надели.

– И вы прибыли сообщить нам эту новость? Я вас так понял? – иронически вежливо справился Константин Михайлович.

– Именно так-с. И прибыл я заново оговорить вопрос об арендной плате в соответствии с изменившейся обстановкой, – вполне серьёзно отпарировал Вилошников.

Дядя уже знал о купеческих комбинациях в защиту своей недвижимости от посягательств уездного наробраза. Но из города уже с утра торжественно и низко наплывал почти пасхальный перезвон всех четырёх колоколен. Наробраз, как и все прочие «нары», был свергнут.

– Сколько? – спросил дядя небрежным тоном бывалого кутилы, которому подали ресторанный счёт, и достал из грудного кармана тощий бумажник.

Этот офицерский форс в общем-то нищего подпоручика и восхитил меня своей совсем не нынешней широтой и одновременно поразил какой-то ещё неясной мне до конца фальшью.

– То есть, сколько теперь будет стоить дачка? Да полагал бы, что десять красненьких в месяц много не будет, – опять уже мирно сообщил Вилошников и показал дяде две растопыренные пятерни.

– Ксаночка, ножницы, – строго попросил дядя и достал из бумажника лист неразрезанных керенок, красным цветом и формой похожих на бутылочные наклейки. Со стороны это лицедейство больше напоминало какую-то условную игру взрослых детей, чем деловую сделку, потому что некоронованные, но ещё двуглавые керенские орлы катастрофически падали в цене ежедневно. Кринка молока на базаре уже стоила десять-двенадцать рублей.

Дядя Костя ровно отрезал пять двадцаток и протянул их купцу.

– Как говорится, «в соответствии с изменившейся обстановкой». За месяц вперёд достаточно? – спросил он, подчеркнув слово месяц, и вдруг весело и чуть-чуть глумливо усмехнулся. – Или вы рассчитываете на более длительные сроки этих изменений?

– За месяц и восемнадцать дней. Сороковку они-с уплатили ещё по старой таксе и прожили лишь один месяц и двенадцать ден, – всё так же, до смешного даже мне, мальчишке, пунктуально подсчитал купец и, не касаясь каверзного вопроса о прочности новой власти, принял керенских «птичек» на ладонь.

– Итак, мы в расчёте до пятого июля? И больше как квартиросдатчик вы к нам никаких претензий не имеете? – уже без улыбки, но всё так же иронически вежливо спросил дядя, опять укладываясь в свой верёвочный кокон, и купец Вилошников вдруг сказал искренно и сокрушённо:

– Эх, господин поручик, господин поручик! (Человек достаточно опытный, он, несомненно, знал и о правилах армейской вежливости, трактующих в частной беседе опускать все неблагозвучные приставки к чинам поручика, капитана, ротмистра и полковника.) Вот вы без смеха над стариком смеётесь: скупердьяй, мол, купчишка, выжига, а он, купчишка сей, на общее дело двенадцать мешков-с второй голубой пожертвовал. Ваши же солдатики кушать безвозмездно будут. Но принцип в денежном расчёте – важнее всего, и он на курсе дня зиждется. Так оно от века идёт: собираем по алтыну, отдаём по гривне.

– К сожалению, у меня нет сейчас солдат, – всё с тем же полускрытым вторым значением суховаго отрёкся от своих офицерских привилегий дядя Костя и опять раскрыл «Белую стаю». – Нахожусь на излечении от ран и контузий и ни в какие военные игры временно не играю. Ну и... честь имею.

Когда купчина полез в свой плетёный тарантасик, я опять побежал в мезонин и наспех взял в цейсовский фокус его сухой, тощий, совсем не купеческий затылок под синим суконным картузом, налезавшим на уши. Мутный венчик седых волос, выбивающихся из-под околыша охотнорядского картуза, казался жиденьким и жалким. Купец был уже очень немолод, и охота была ему в эту жару трястись за пять пыльных вёрст из-за четырёх лишних керенок, на которые завтра всё равно уже ничего не купишь! Нет, уж лучше попросту удить косырей и плотву на Линёвке или ставить вентера на Сазанлее. Всё-таки доходнее.

Я совсем не завидовал купцу Вилошникову. Вот он снял картуз и большим трёхцветным платком обтёр лысину. Она светилась мёртво и жёлто, как старый бильярдный шар, прыгающее движение которого в тряском тарантасе, казалось, было предопределено чьей-то совсем посторонней, недоброй и обременительной купцу волей.

И зачем только люди придумали деньги, да ещё такую их нелепую разновидность, как бумажные рубли, трёшницы и уже совсем абсурдные – керенские двадцатки? Не лучше ли было бы рассчитывать сурочьими и кротовьими шкурками, битой птицей, связками вяленой рыбы, порохом, дробью и даже серой крупной солью, которую киргизы привозят на скрипучих и длинных арбах из-под самого Эльтона и Баскунчака!

Ну, сравнимо ли всё это нужное, деловитое богатство с потрёпанной бумажкой, будто бы обеспеченной всем достоянием уже отменённой Российской империи?

4

Спустившись на веранду, я застал одну из редких размолвок в семье дяди Кости и тётки Ксаны.

Константин Михайлович отмалчивался, уткнув глаза в одну из тех неинтересных книг с таблицами цифр и чертежами на каждом листе, которые он читал вперемежку со стихами. Гамак под ним тонко и зло поскрипывал. А тётка Ксана с блестящими от слёз глазами укоряла мужа в чём-то совсем несуразном, чуть ли не в преднамеренном самоубийстве. Серафима стояла с ней рядом, привалясь худеньким плечом к столбику веранды, и невозмутимо наматывала на палец кончик толстой косы.

По её негодующим большим серым глазам было ясно, что она в этой семейной расправе целиком на стороне старшей сестры.

– Ты эгоист, фронтёр и, прости меня, мальчишка! Ты... вечный юнкер, а не фронтовой офицер, за которого себя выдаёшь! – причитала старшая тётка, и её расширившиеся зрачки стали никак не меньше круглых пуговиц на самых высоких «румынках».

– Уж если вечный, так гимназист, что ли, или вольнопер, так хоть будет правдоподобнее... – едко отшучивался дядя Костя и делал ногтем какие-то пометки на пожелтевших полях книги, а Ксана распалась всё больше.

– Молчи, Константин. Это просто чистейшее идиотство, армейский кретинизм! Зачем тебе было дразнить купчишку? Вот он донесёт о твоих намёках в контрразведку, и тебе покажут врачебную комиссию фронта!

– Эк! Что они мне сделают?

– Повесят как дезертира!

На минуту дядя стал задумчиво-серьёзен и сказал знающе, пыхнув клубом синего дыма, как выстрелил:

– Вешают шпионов. Дезертиров расстреливают. Жене армейского подпоручика это не мешает знать в наше время. А до контрразведки ровно двести двадцать четыре версты. Она в Самаре. Здесь эти господа, да и сам пристав Широков, пожалуй, не успеют ею обзавестись. Здесь у них ещё каменный век и... вскипяти, пожалуйста, кофе. Оно успокаивает. – Дядя пыхнул ещё одним синим клубом и вдруг сказал так зло, что тётка сразу замолкла: – Проклятый толстосум! Ничему не научился. Да за двенадцать мешков второй голубой можно оклеить керенками всю дачу. Десять дач! Сто! И чтобы мне да за его доходы идти людей убивать?! Отставить такой камуфляж.

Он упруго, как из седла, выпрыгнул из гамачной сетки и, словно сразу разрядясь от пароксизма своей нервической ярости, сказал вполголоса и совсем мирно:

– Димка, пошли на Сазанлей, вентеря посмотрим. Ох, лещи сегодня плескались!

Жили мы в то лето, если брать довоенные дачные нормы, достаточно скудно.

5

А дядин полевой «цейс» продолжал показывать мне из окна мезонина свои маленькие оптические чудеса.

Они ехали верхами, вдвоём, и у одного было загорелое каменное лицо драматического злодея. Я различил это ещё за версту, всё-таки хитроумная оптика Карла Цейса из Иены давала восьмикратное увеличение. Зато во втором я так же без труда узнал Петра Уварова, саратовского реалиста, сына известного у нас в губернии присяжного поверенного. Он с весны гостил в Балашине у замужней сестры. На рукавах у обоих были широкие белые повязки, как и у Паисия Липнягова.

Туполицый и загорелый солдат держал поперёк седла короткий кавалерийский карабин, а Уваров сначала показался мне безоружным, но, присмотревшись, я различил на его поясе спереди тупоносую кобуру полицейского «бульдога».

Мы, мальчишки времён Вердена и Перемышля, боёв во Фландрии и под Варшавой, знали тогда все марки и типы огнестрельного оружия едва ли не лучше любого унтер-офицера срочной службы.

Понуро опустив головы, не вздёрнутые поводьями, свободно брошенными на луки высоких сёдел, несли своих седоков к нашей даче две лошади – низкорослый, лохмоногий и горбоносый «калмык» и огромный, устрашающей худобы конище, верно, из армейских выбраковок. И на них, лениво переговариваясь, ехала шагом сама вооружённая заволжская контрреволюция. Поначалу это показалось мне даже смешным – Петька Уваров, читавший с эстрады на школьных вечерах Мережковского и Бальмонта и даривший гимназисткам в саду Сервие и саратовских «Липках» букеты ландышей и фиалок, и вдруг – учредиловец, белый доброволец, заволжский шуан. Было это тем более забавно, что форменные брюки великовозрастного реалиста вздёрнулись на коленях и над цветными носками были видны белые кальсоны.

«И конь, ни дать ни взять, как Росинант», – насмешливо подумал я и, дождаввшись, когда всадники, пригибаясь, проедут в калитку, спустился вниз. На веранде, сидя в гамаке, читали вместе одну книгу дядя с тёткой и, напевая «Бал господен», что-то кроила на столе Серафима. Пёс Хам, добродушный и мирный пойнтер, развалясь в тени, с костяным стуком колотил хвостом по полу возле её стройных и загорелых ног.

Но вот Хам, верно, услышав конский топот, вскочил, напрягся и оглушительно звонко залаял, бросаясь к стеклянной двери. Серафима прикрикнула на него, но бедняга совсем одичал в нашем тихом малолюдьи и уже крутился у ног лошадей, подпрыгивая и норовя куснуть их за добрые отвислые губы.

Загорелый кавалерист, как-то необычно ловко пригнувшись с седла, ткнул пса стволом карабина в пах, и Хам, завизжав, кинулся под крыльцо – вообще-то он был трусоват, но задирист и по молодости глуп.

Уваров, виновато улыбнувшись в сторону веранды, сказал укоризненно своему суровому спутнику:

– Нашёл с кем связаться. Это ж пойнтер – некусачая порода.

– Петя, какими судьбами?! – вдруг разряжая атмосферу готового вспыхнуть конфликта, раздался обрадованный голос Серафимы, и я увидел, как смутилась, захлопывая книгу, Ксана Петровна, видимо, шокированная весёлой невоспитанностью сестры. Ну разве же можно было девушке первой обращаться так экзальтированно к незнакомому, а если и знакомому одной ей, то не представленному всему обществу молодому человеку?

«Хоть бы офицер был, а то... Уваров», – подумал я, разочарованно разглядывая «жёлтую яичницу», как звали у нас в Первой министерской всех без исключения воспитанников реальных училищ.

А Серафима и Уваров уже стояли рядом, и я совсем не узнавал нашей, всегда уравновешенной, молчаливой и даже чуточку флегматичной, на первый взгляд, Сороки, такое испуганно-сияющее было у неё лицо. Как же, «жёлтая яичница» в гости пожаловала. Подумаешь, кавалер! Лично меня больше всего занимали привязанные к штакетнику лошади, и я уже был готов извлечь для себя все выгоды из тёткиного знакомства.

Ведь даже второй всадник с лицом воинственного истукана смотрел на мою младшую тётку с восхищённой улыбкой – и то сказать, девушка была очень хороша, даже я, шпингалет, догадывался, что таких ресниц, мохнатых, стрелчатых и загнутых кверху, и такой тяжёлой косы цвета спелого каштана не было ни у кого из девчонок во всём квартале между Московской и Часовенной.

А Серафима и Петька Уваров продолжали какой-то давно начатый, видно, сразу завихривший их разговор, и я не знал, как теперь свести его на коней и сёдла.

– Ну вот я и доказал! – взволнованно говорил Уваров, стоя перед Сорокой особенно прямо и почтительно, руки по швам, и мне уж было ясно, что эта строгая стойка перенята им у кого-то из знакомых офицеров. – Доказал, Симочка! Не спорьте. Себе? Вам? Ещё не знаю. Помните, у Блока? «И я сказал: «Смотри, царевна, – ты будешь плакать обо мне...» Помните?

Тон его был совсем не предназначен для свидетелей, но Серафима, раскрасневшаяся, счастливая, с головой выдающая себя, не возражала – она, несомненно, помнила всё.

– Это было чертовски интересно! Мы не ели два дня, лежали в степи и поднялись по белой ракете. Понимаете, белой, видной даже днём. У нас был замечательный ротный, из кадровых, с двумя Георгиями...

– Петя, Петя, вы всегда были непрактичным и увлекающимся. Помните, под Новый год? А ваше купанье в проруби? Но это же страшно опасно и глупо – вас убьют, и я действительно... буду плакать, – ласково, но уже тревожно пела Серафима, а Уваров смотрел на неё преданно и счастливо улыбаясь.

Я же мотал всё на свой условный ус – так вот где она, эта сероглазая тихоня, была под Новый год!.. Боже, когда же мне будет хоть семнадцать? Но лошади, лошади! Неужели я так и не покатаюсь сегодня в высоком казачьем седле?

– Я ведь никогда не думал, что война – это так интересно!.. – восторженно говорил ещё недалеко ушедший от меня реалистик Петя Уваров. – Ка-ак мы ворвались в городишко, как наш ротный...

– Позвольте, юноша, это война-то интересно? Где вы это вычитали? В каких книгах? И где вы видели войну? Под Балашином? – насмешливо спросил вдруг с веранды дядя Костя, и его иронический голос сразу стёр улыбку с лица Уварова и поставил что-то на своё место. Даже каменными солдат глянул на дядю с суровым одобрением.

– Какой там антирес? Просто нужда, крайней нет. Ну, приказ: комиссаров сничтожать надо. Продали Россею, – словно бы поддерживая дядю Костю, буркнул он и вдруг чётко закинул карабин за плечи. – Ты вот что, Уваров, раз уж у тебя здесь знакомство, осмотри сад. А я спущусь к реке. Да только зря мы время ведём. Он нас ждать не станет. Поди, на Дымную пристань подался.

– Так вы кого, господу, ищите? – деловито справился дядя Костя, и спутник Уварова неохотно сказал:

– Да тут один захаркинский холуй шалается. Только зря мы, говорю, коней гоняем. Не дурнее нас он, Захаркин. Кого ни попадя не пошлёт.

Уваров нетерпеливо и, как мне показалось, обрадованно кивнул:

– Хорошо, хорошо. Я осмотрю сад. Симочка, вы составите мне компанию? В качестве проводника?

Но тут в конце концов возмутилась Ксана и, всплеснув голыми по самые плечи руками, прикрикнула на бесстрашного разведчика со своим всегдашним педагогическим апломбом бывалой классной дамы:

– Где вы только воспитывались, молодой человек? Приглашать девушку в такую рискованную прогулку! Серафима, не смей!

– Да какой же это риск, Ксаночка? В саду определённо же никого нет. А нам надо... доспорить. У нас давние разногласия, – лукаво засмеялась было Серафима, но тут же покраснела до самых ключиц. – Мы же очень старые знакомые.

И опять решающее слово оказалось за дядей Костей, единственным нашим мужчиной, знающим войну не по обзорам полковника Шумского в «Ниве».

– Оп-перетта. Кор-де-балет, – сказал он презрительно и через перила потянулся рукой к ученическому поясу Уварова. – Ну-ка, юноша, покажите вашу пушку. Не бойтесь, я к Захаркиным лазутчикам отношения не имею.

Уваров доверчиво вынул свой «бульдог» из кобуры и на ладони показал его дяде. Из барабана торчали тусклые свинцовые носики четырёх патронов, пятое гнездо было пустым. Дядя сказал всё с тем же весёлым презрением:

– Кинематографическое оружие. Такая война действительно интересна... до встречи с противником. По-моему, бесстрашный воин, вас надо поставить носом в угол, а может быть, даже и... – дядя слегка похлопал себя сзади по пузырю офицерского галифе, но заключил уже серьёзно: – Вам известно, что эта... бутафория за десять шагов не пробивает и трухлявой доски в дюйм толщиной? Неизвестно? Тогда получите назад деньги с вашего 2-го реального.

Но Уваров, не обижаясь на эти едкие слова, опустил свой кургузый револьвер в потёртый кожаный чехол, сразу оттянувший ему ремень с медной пряжкой с четырьмя тиснёными на ней буквами «С2РУ».

– Но я же совсем не намерен во что бы то ни стало убивать людей, – ясными глазами глядя на Константина Михайловича, сказал он. – Я считаю, что в этой смуте мы, то есть интеллигентная молодёжь, должны перенести всё со своим народом и прикрыть его грудью. Вот так.

Дядя вдруг болезненно поморщился, как от очень фальшивой ноты в оркестре, который он до сих пор всё-таки ещё слушал.

– Это, простите, из какой партийной программы? Социалистов-революционеров господина Чернова?

Уваров пожал плечами.

– Не знаю. Но так мне подсказывает совесть.

Дядя с шумом вздохнул.

– И тут совесть. И кроме всего, узкая у вас грудь, юноша. Вы уверены, что народ в ней нуждается? Он уж как-нибудь сам. И... забросьте вы его поскорее в Волгу, этот монтекристо. Ох, и даст же вам жару Пётр Захаркин! – вдруг добродушно и даже весело определил дядя Костя и успокаивающе кивнул жене: – Не бойся, друг мой. Это же чистойшей воды оперетта. Да пусть они походят по саду. Вон ещё Димку пусть возьмут. Он тоже любит в казаки-разбойники играть. Любишь, Димка?

Нет, больше всего на свете я любил моего бывалого фронтовика – дядю, и сквозь все его насмешки чувствовал какую-то горькую и большую правду его совсем невесёлых слов. Но я, конечно, не сказал ему ничего. Что же это за любовь, о которой можно говорить на всех перекрёстках?

Дядя же так добродушно посмеивался, что Ксения Петровна вдруг успокоилась, и мы троём пошли в сад.

Но меня всё ещё продолжала занимать лошадь Уварова, и не так сама лошадь, как высокое казачье седло, в котором я ещё за свой короткий век и раза не сиживал. Я всё время пытался

свести разговор на лошадей и сёдла, а Уваров и тётка от меня отмахивались и были похожи на лунатиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.